# Мутным вечером

(Лесная сказка)

## I

Мутным вечером в конце апреля по дороге из села Пеночки к лесному хутору богатого крестьянина-землевладельца Стягина шли, растянувшись гуськом, четыре человека. Трое из них по виду были в возрасте от двадцати до двадцати пяти лет, четвёртый же выглядел совершенным мальчиком. Передний из них отличался высоким ростом и обладал очень длинной шеей. Второй был худ, низок и горбат. Третий своими донельзя кривыми ногами походил на жалконького портного, вся жизнь которого прошла в затхлом и сыром подвале. А глаза четвёртого глядели на мир божий ещё совсем с ребячьим недоумением. Все четверо шли молча и сосредоточенно, угрюмо шлёпая друг за другом своими большими сапогами по размытой от вешней распутицы дороге. Никакой поклажи при них не оказывалось, но, видимо, все они несли в себе что-то назойливое и тяжкое, как неизлечимый недуг, порою опутывающее их ноги, будто кандалами. Передний из этих пешеходов, самый высокий, ощущая, очевидно, потребность хоть на время забыть про ту докучную ношу, иногда пробовал было острить, чтобы шуткой несколько развеселить и подбодрить и себя, и своих сотоварищей, но шутка всегда выходила у него неудачной и пропадала, не вызывая ни в ком отклика. И после каждой такой неудачи все четверо ещё напряжённее начинали вышагивать по грязной жиже размокшей дороги. И сумрак всё неприветливее хмурился вокруг них. Все пешеходы эти были одеты бедно и неряшливо, но по-городски, а не по-деревенски, и, очевидно, у них были самые основательные причины скрывать это своё путешествие, так как, когда они услышали скрип проезжей телеги, все четверо поспешно попрятались за придорожные кусты, где и просидели до тех пор, пока встречная телега не скрылась за поворотом. И тогда только с тою же угрюмой настойчивостью они продолжали свой путь. Вероятно, переменить намерение было уже не в их власти, и, пожалуй, они сознавали это, поневоле набираясь необходимой для них решительности. Однако, когда тёмные профили хуторских построек глянули на них с лесной



поляны, долго накапливаемая решительность как будто уже совсем покинула их. Даже самым высоким овладело беспокойство, и, чтобы не выдавать его, он опять-таки попробовал было пошутить. Обращаясь к товарищам, он сказал хрипловатым голосом, но, впрочем, весьма забубённым тоном:

— У попа было девять кур, а у дьякона девята. Так? — спросил он самого близкого, горбатенького.

Тот угрюмо и вопросительно ответил:

— Ну?

— Ну, так не покурить ли нам, ребята? — закончил высокий, желая состроить на своём лице улыбку.

Губы его широко и судорожно растянулись, обнажая жёлтые и низкие зубы, но вместо улыбки вышла болезненная гримаса. Шутка и на этот раз пропала даром. С хмурым видом все переглянулись и угрюмо прошли с дороги на опушку. Присев там на мокрой земле, они неторопливо свернули цигарки и закурили, сильно затягиваясь кисловатым дымом махорки и прикрывая огоньки своих кручёнок пригоршнями, чтобы случайно их не увидали из усадьбы.

Между тем в лесу заметно смеркалось. Дул ветер, и дерево, покачиваясь, точно беспокойно говорило о чём-то дереву, наполняя тьму тревожным шорохом. И когда они, покуривая, прислушивались к этому шороху, им всё казалось, что дерево сообщало дереву о том, что они сейчас намеревались сделать. Когда вокруг уже совсем стемнело и из лесной тьмы запахло туманом, болотом и грибами, они, уже давно докурив свои папиросы, всё ещё сидели в прежних позах, будто занятые каждый своею думою. И горбатенький думал, что хорошо было бы сидеть сейчас где-нибудь в тепле и уюте, среди благодушных и ласковых людей. В высоком всё кипело угрюмой ненавистью и тяжким раздражением. Самый юный, с ребячьими глазами, воображал себя гуляющим по ярмарке, одетым в красную рубашку и с гармонией в руках. А тот, с ногами, похожими на распиленный пополам обруч, старался совсем не думать. Поглядывая на рядом высившийся дуб, высокий и развесистый, он мысленно высчитывал, сколько бы потребовалось на двубортный сюртук пуговиц, если бы этот дуб явился к нему как заказчик.

— Сто восемьдесят две, — наконец проговорил он вслух.

— Чего? — переспросил высокий.

— Пятнадцать, говорю, дюжин и две пуговицы. А? Хорош сюртучок? — опять проговорил кривоногий тупо.

Высокий молча поднялся на ноги и оправил на обтрёпанной куртке обмызганный кушак. По его лицу скользнуло выражение как бы полнейшей растерянности и ещё каких-то ощущений, возбуждавших одну жалость. Те трое, сразу же заметив это выражение, ждали, что сейчас он скажет: «Ну, а теперь идём по домам. Чего нам на этом самом хуторе делать? Домой!»

И все как бы жаждали именно вот такого приглашения. Но высокий, кивнув на хутор, внезапно выговорил:

— Ну, одначе, идём. Взялся за гуж — не говори, что не дюж! Назвался чёртом, так лезь в болото… Адя!

И он первый двинулся к лесному хутору. Впрочем, походка его была тяжкая и неровная, точно его уже совсем обременили ношей. И трое поплелись за ним, как мутные тени мутной ночи.

Перед самыми воротами усадьбы высокий остановился.

— Ты хорошо ли знаешь-то? — спросил он сурово самого молодого, с ребячьими глазами.

— Чего? — переспросил тот.

— Чего-чего? — передразнил его высокий. — Что стягинского сына дома нет?

— Очень доподлинно знаю. Левонтий Прохорыч уехамши с тремя рабочими на винокуренный завод. За скотом, который зиму на барде поили. Очень доподлинно, — повторял самый младший обиженно и хвастливо, — теперича которые дома, хоть по пальцам сочту. Рабочий Зиновей да стряпка Мареутка-солдатка, да сам Прохор Данилыч, да Дарья Панкратьевна, да ихняя кухарка, как бишь её, Лидочка. И Левонтию Прохорычу раньше, как завтра к обеду, взад не обернуться, — тараторил парнишка.

В усадьбе тявкнула собака.

Высокий спросил:

— И собаки, небось, у них злее чёрта?

— А ты его видел? — огрызнулся горбатенький.

— Кого?

— Чёрта-то.

— А как же. В прошлом году вместе с тобой у него на именинах чертили. Ай, забыл?

Парнишка деловито докладывал:

— Собаки, конечно, как собаки. Но только я с ними летось в одной соломе кувырдался.

Горбатенький опять огрызнулся:

— Так, стало быть, ты ещё с прошлого лета сукиным-то сыном стал?

Парнишка виновато заморгал глазами, а высокий сурово приказал ему, точно молотком гвозди вколачивал:

— Качай легонько на двор и вызови всю пёсью артель.

— Полкана, Разбойника и Плутовку?

— Всех!

— У Плутовки кутята — она за двор не пойдёт!

— А ты поласковее, с хлебцем.

Парнишка юркнул в ворота, но тут же остановился.

— Боязно! — пропищал он вдруг совсем жалобно.

— Ну! — цыкнул на него высокий шёпотом, но злобно.

Тот юркнул во тьму. Опять протявкала собака и смолкла. И в мутном сумраке разлилось что-то тяжкое и неприязненное, мешавшее дыханию. Горбатенький задышал так, точно он страдал злейшей одышкой.

Вскоре мальчик вызвал за околицу всех собак и даже Плутовку, которой он бросал маленькие кусочки хлеба. Полкан и Разбойник начали обнюхивать сапоги незнакомцев, видимо, желая узнать, что они за люди, а Плутовка просительно взвизгивала, умильно поглядывая в глаза парнишки, и подпрыгивала вокруг него, пытаясь лизнуть его в самое лицо. Но во всей этой восторженности чувствовалась одна голодная просьба: «Дай ещё кусочек хлеба. Ведь у меня дети!»

Ей дали много хлеба и высокий, и горбатенький, и, наскоро сглодав его между лапами и с обильной голодной слюной, она также проворно и восторженно нырнула снова во тьму, направляясь, вероятно, к щенкам, вся полная особой материнской радости и гордости. Тогда высокий решился было двинуться к людской избе, но, когда он прошёл в ворота, Полкан внезапно схватил его зубами за голенище сапога и, сердито заурчав, ощетинился. Высокий испугался и пожелтел, боясь двинуться, а горбатенький сказал ему:

— Из тебя ядовитый пар выходит, и пёс чует! Пёс — не наш брат, голодный дурак: его словом не обманешь!

Высокий ответил:

— А из тебя что выходит? Ангельское растворение? Он нагнулся и нерешительно поласкал собаку. Тогда Полкан отпустил его, недоверчиво поднял уши и отошёл неторопливо в сторону. Сев мордой к высокому, он залаял, впрочем, без особой злобы. Весь его вид точно желал сказать высокому: «Пусть хозяин сам решит, что с тобой делать. Моё дело собачье — лаять».

Высокий двинулся к избе, в которой ещё светилось окошко, но на полдороге повернулся к собаке, достал из кармана револьвер и, внушительно показав его, проговорил:

— И тебя тоже одним часом ухлопать возможно. Видишь?

Затем он постучал в окошко и, сделав свой голос жалобным и слабым, протянул:

— Пустите переночевать прохожих. Измаялись, не пимши, не емши, а иттить далеко.

Кривоногий в то же время шёпотом говорил похожему на мальчика:

— А ты иди за двор и притаись у плетня. Пока не позовут. Или хочешь, чтобы тебя здесь опознали?

— Боязно! — почти прохныкал тот. — Ох, родимые, боязно!

Высокий всё тянул:

— Про-хожих…не пимши, не жрамши который день…

Из-под бани вынырнула Плутовка и визгливо залаяла.

## II

Когда ещё в начале апреля Стягин узнал, что под самым уездным городом ограбили почту, он сказал за вечерним чаем жене:

— Слышала, мамаша? В городе, у Объездного моста, почту потрафили! Осемьсот рублей свистнули. Беда! По всей России грабёж пошёл. И до наших местностей доползло!

Дарья Панкратьевна, полная и добродушно-простоватого вида женщина, схлёбывая с блюдечка чай, ответила:

— Что же мудрёного, если вся держава рушится! Японец хорошую державу разве одолел бы? Ты как думаешь, папаша? — спросила она мужа.

Тот ответил, поглаживая свою большую и круглую седую бороду:

— Так-то так, но, стало быть, и нам надобно жить с опаской. За утро же в город съезжу и шестиствольное орудие куплю для острастки.

Дарья Панкратьевна точно чего испугалась. Ещё не поседевшие брови высоко поднялись на её лбу.

— Ой, боюсь я этих самых орудий! Опасная эта в домашнем обиходе вещь!

— У нас в доме младенцев нет.

— Да и без младенцев опасно. Нонешнее орудие мудрёное. Ещё отогреется оно в тепле да и пустит под потолок огненную шрапнель! Кто тогда в ответе будет?

— Это леворвер-то шрапнель пустит? Мамаша!

— А ты по механике ли выпускной диплом выдержал? У какого профессора? Не у покойного ли Захарьина?

— Мамаша, не городи огород. Захарьин по другой части сведущ был. И не по механической, а по врачебной.

— А ты это, папаша, в каких научных лекциях вычитал?

Дарья Панкратьевна слизнула с ложки малиновое варенье и вразумительно добавила:

— Прими к сведению, что это только квартальный надзиратель в одной какой-нибудь части взятку берёт. А настоящий научный человек во всех частях одинаковый ухач и знахарь!

За ужином Дарья Панкратьевна снова высказалась против оружия самым решительным образом, и, к удивлению старика, её поддержал в этом и сын, румяный и русокудрый детина с кулаком в арбуз.

— Какое ещё нам надо оружие? — заявил он. — Мои два пятиствольных револьвера завсегда при мне!

И, растопырив пальцы, он хвастливо указал на свои действительно могучие руки.

Несколько дней старик всё ходил с этой мыслью о револьвере, но, не встречая в домашних сочувствия, он мало-помалу эту мысль бросил. Впрочем, когда в соседнем селе была ограблена винная лавка, он снова весь беспокойно встрепенулся и уж с полного согласия домашних приобрёл от знакомого кузнеца двухствольное пистонное ружьё. Ружьё это он тотчас же зарядил в присутствии жены, сына и кузнеца и повесил в спальне, над своею постелью, причём Дарья Панкратьевна заявила:

— Вот этого орудия я нисколько не боюсь. Во-первых, оно старинной основательной конструкции, а не нонешней, верчёной. А во-вторых, и заряжал-то ты его при сведущем в механике человеке — при кузнеце.

А ещё через несколько дней, когда старики уже ложились спать, к ним в комнату, стуча босыми ногами, вошла кухарка, сорокалетняя женщина, совершенно одинакового размера в плечах, талии и бёдрах, которую все на хуторе почему-то звали уменьшительным именем — Лидочкой. Может быть, за её крайнюю ветреность по отношению к мужскому полу.

— Зиновей к вам докладывается, — сказала она Стягину хмуро и почёсываясь. Видимо, её оторвали от сна.

Дарья Панкратьевна, любившая от безделья поворчать, заметила ей:

— А я тебя сколько раз учила: прежде чем в спальню входить, надо было постучаться.

Лидочка так же хмуро спросила её:

— А вы или молодожёны?

Дарья Панкратьевна вспылила и даже бурно приподнялась на постели.

— А я в секрете от тебя или не могу своих денег сосчитать?

— С каких это я лет стала у вас воровкой? — огрызнулась и Лидочка, очевидно, совершенно встряхиваясь ото сна, и полная желания вступить с хозяйкой в живейший обмен мыслями.

Чтобы поскорее прекратить женскую перебранку, Стягин торопливо надел шаровары и вышел с Лидочкой в кухню.

— Что там ещё такое? — спросил он у рабочего.

— Трое проходящих переночевать просятся, — доложил Зиновий.

— А что за люди? — опять спросил Стягин, и в его голове вдруг беспокойно метнулось: «Скверно, что сын Леонтий дома не ночует!»

— По всей видимости, печники, — ответил Зиновий. — Рукава у них в глине замазаны.

— А как они сами-то себя называют?

— Печники, говорят. В селе, говорят, Пеночкине на заработках были, теперь в город по домам пробираются. А я думаю: «Мне что? Вот как хозяин!»

— Та-ак, — вздохнул Стягин и опять подумал: «И зачем только Леонтий всех трёх рабочих с собой взял; небось, и с двумя бы управился?»

— Вот уж не знаю как? — проговорил он вслух и вопросительно поглядел на Лидочку.

Та, желая загладить перед хозяином свою перебранку с хозяйкой, приняла озабоченный вид, словно бы всем сердцем входя в хозяйское положение.

— А как они по виду себя оказывают? — спросила она Зиновия. — Просто мужиками или мужчинами?

Тот ответил:

— Нет, должно быть, мужчинами: все в куртках, и сапоги новые.

— Впусти их, пусть ночуют, — вдруг решил Стягин.

Он собственноручно запер за работником обе двери, аккуратно накладывая крючки, и прошёл в спальню.

— А ты, мамаша, тоже не резон делаешь, — сказал он жене. — С прислугой и вдруг о секретных деньгах целое предисловие заводишь!

Он поглядел на лицо жены и увидел, что та уже спит. Стащив шаровары, он тоже лёг в постель. Но ему не спалось.

«Вот Леонтий храбёр, потому что силён и молод, — пришло ему на мысль, — а я стар и потому немощен и робок».

Он тяжело повернулся на другой бок, но опять уныло подумал: «И здоровье, и молодость, и силу у меня взяли. Кто?» Жизнь вдруг показалась ему страшной, как вековечный враг человека, беззастенчиво грабящий его на всех перекрёстках.

«А денег моих я никому не отдам! — хотелось ему восклицать тоскливо. — Никому! Ни за что!»

Но ему будто шепнули на ухо какое-то дикое, нелепое и безмерно страшное слово, перед которым он весь беспомощно и жалко сжался, точно раздавленный.

— Ну, смерти-то, конечно, придётся всё отдать! — проговорил он шёпотом.

Он встал с постели, прошёл в угол, к образам, и, поспешно крестясь, стал молиться. Он прочёл «Отче», «Богородицу» и ещё какую-то особую молитву, тут же подвернувшуюся ему на мысль и казавшуюся ему самонужнейшей, будто исторгавшей пламенные искры из его сердца. И тогда только он снова лёг в постель. Чувствуя успокоение, он проговорил:

— Бог милостив.

И уверенно добавил:

— Даже к последней блуднице!

И уснул.

## III

Работник Зиновий, или Зиновей, как его все звали на хуторе, делая притом ударение на последнем слоге, жизнью дорожил, как даром Божиим, о смерти не задумывался за недосугом, а грабителей не боялся по той простой причине, что грабить у него было решительно нечего. Вернувшись от хозяина в людскую избу, он сказал трём поджидавшим его:

— Раскалякивать мне с вами долго неколи. Пожуйте которые и адя спать!

Он повернул своё скуластое зеленовато-серое от рябин лицо к стряпухе и добавил:

— Собери им чего ни на есть!

И, сев на лавку, стал разувать лапти, медленно развёртывая онучи.

Наскоро поев, те трое улеглись на лавках, Зиновий — на печке, а солдатка Мареуша —у себя за перегородкой, у самого окна, и вскоре оттуда и с печки послышалось ровное дыхание сонных.

И тогда высокий поднялся с лавки, прошёл к окну и сел, облокотившись на подоконник. Горбатенький, всё время беспокойно наблюдавший за ним, заметил, что всё лицо высокого сводится в мучительную гримасу беспредельного ужаса, очевидно, охватившего его внезапно и нежданно-негаданно, как приступ злой лихорадки. Горбатенький тихохонько сполз с лавки. Будто волна захлестнула и его выше темени, спутав все его мысли и все его ощущения, как нити легковесной пряжи. Он присел тут же, на полу, у лавки, мучительно страдая одышкой, пытаясь разобраться в охватившей его путанице. Зорко приглядываясь к каждой зарождавшейся в нём мысли и к каждому обжигавшему его ощущению, чтобы не ошибиться и выйти на самый верный и безопасный путь, он просидел так несколько мгновений, чувствуя на своих икрах обильный и холодный пот. И сперва он застиг себя на одном желании: ему хотелось незаметно от высокого пробраться к печке, где спал Зиновий, подсунуть к нему под руки топор и, осторожно растолкав сонного, крикнуть над ним во всё горло:

— Эй, человек, проснись! Рядом с тобой душегубы!

Но тут же он понял, что этим возгласом он погубил бы и себя самого. В то же время мысль об обогащении через все эти надвигающиеся

ужасы метнулась перед его глазами широкой зарницей, заманчиво освещая дали.

И среди этих разнородных мыслей и ощущений он вновь беспомощно забарахтался, как посреди бурного водоворота. Чувствуя полную свою беспомощность, он даже простонал и, приподымаясь на ноги, жалобно позвал высокого по имени:

— Митрий!

— Ну? — точно огрызнулся тот сурово.

— Митрий, выйди к воротам. Мне тебе сказать надобно одно словечко, — вытягивал горбатый просительно.

— Ну и адя! — проронил высокий сердито. Горбатый вздохнул и пошёл вон из избы.

— Ну? — опять спросил его высокий у ворот.

Горбатый опустился на землю, весь корчась как бы от боли.

— Ой-ой-ой, Митрий! Родимый! — заговорил он плаксиво и быстро. — Смерть моя подошла! Человек во мне взбунтовался! «Не смей, — кричит, — этого делать!.. Не смей! Не смей!» Ой-ой, Митрий! — простонал он.

— Сволочь паршивая! — процедил высокий сквозь зубы.

Он гневно и брезгливо толкнул горбатого носком сапога в живот.

— Сволочь паршивая! — повторил он с отвращением.

И притих. Он прекрасно понимал, что творится с его горбатым сотоварищем, ибо он ощущал и в себе этот бунт человека, и, злобно ругая горбатого, он не столько ругал его, как того, бунтовавшего в нём самом. Какое он имеет право непрошено вторгаться в его планы и намерения? Разве он может обеспечить им жизнь, о которой им мечтается?

— Не имеет он права бунтовать в нас, — проговорил высокий вслух, очевидно, отвечая собственным мыслям. — Или он даст нам денег за нашу святость? Корки хлеба не даст он нам, сволочь паршивая! — опять выругался он злобно.

Всё лицо горбатого перекосилось от боли.

— А что, если и тот душегуб нас обманет? А? — проговорил он слезливо.

По лицу высокого метнулось выражение внезапной тоски.

— Как? — спросил он, хорошо понимая, как может обмануть их этот, приведший их сюда.

— Как? Известно как. Посулит золотые горы, а даст медный алтын, — ответил горбатый, но уже не плаксиво, а с выражением язвительной насмешки, точно радуясь этому возможному обману со стороны душегуба, сидевшего в нём и приведшего его сюда.

Высокий опять хорошо понял мысль горбатого, но с деланным недоумением спросил:

— Как?

— Очень просто как! — выкрикнул горбатый совсем уже злобно. — И через такие деньги не даст того, чего мы ищем! Слышал? Понял? — повторил он в исступлении. — Не даст! Обманет!

Внутри высокого точно что оборвалось, его лицо словно окостенело в одном выражении тупого ужаса. И тот, бунтовавший в нём, ясно произнёс ему на ухо: «И обманет! Будь уверен, обманет!»

Он беспомощно застыл среди мутной тьмы, тупо поводя глазами. По небу неслись тучи. В лесу шумел ветер, жалобно воя среди построек хутора. И высокому чудилось в этом слезливом вое: «Об-ма-а-нет!»

— Врёшь! — крикнул высокий бешено.

Горбатый вздохнул, ворочаясь у ворот тёмным комком:

— Эхе-хе-хе!

— А Володька, парнишка этот непутёвый, сидит сейчас у плетня с собаками и глазные проранки себе докрасна наплакал, — проговорил кривоногий, вдруг появляясь среди ворот. — Ох, выдаст он всех нас, галичь желторотая. Не так у него мозг скроен, чтобы на солидное дело иттить.

Он опустился у ворот рядом с высоким и сказал:

— Володька среди нас, как заплата на новомодной визитке.

«И обманет!» — пел высокому ветер.

— А он что же, семижильный, что ли, этот Володька-то? — спросил высокий кривоногого. — Довёл он нас сюда. А теперь он ай нам нужен?

Обхватив колени руками и поглядывая на блеклые тучи, он вдруг рассмеялся сухим смехом, похожим на шорох мёртвой листвы, и добавил:

— При всей отчаянности нашей судьбы или мы почеремонимся его спроворить?

Кривоногий, чувствуя, что он говорит совсем не то, что нужно, и пытаясь бахвальством заглушить бурно клокотавшую в нём тоску, спросил:

— Спроворить? На тот свет, где монополек нет?

«А если это тебе так легко, так зачем же ты у себя минутки-то воруешь?» — спросил высокого беспокойный голос внутри его.

Он весь встрепенулся, полный злобы на этот тоскливый голос.

— Чего ж мы, когда так? — спросил он всех. — Адя так адя!

Он чего-то подождал и, вдруг махнув рукой, двинулся один к людской избе.

— Адя, адя! — понукал он себя.

Первые шаги он делал с большим усилием, будто борясь с сильным противным течением, но на крыльцо его взмыло словно волной. Весь сжавшись, он схватился за скобу двери и потянул её к себе.

— Адя! Адя!

В избе он сразу увидел то, что ему было нужно. Топор стоял в углу у печки, и его лезвие тускло светилось среди блеклой и душной мути, как бельмо страшного глаза. «Адя!» — опять сказал он себе.

Он взял топор и осторожно полез на печку. Зиновий спал ничком, крестом раскинув руки, и высокий отчётливо увидел его волосатый и круглый затылок. Он нацелился, повёртывая лезвие топора к себе.

«Не смей!» — крикнул ему протестующий голос.

«А что мне за то будет, если я даже без одной улики?» — спросил высокий мысленно, загораясь диким вызовом.

Он услышал: «Я наложу на тебя печать Каина и душегуба».

«Врёшь!» — мысленно ответил высокий, сотрясаясь от гневного огня.

«Наложу печать».

«Врёшь!»

Бешенство на этого запретчика и заступника вновь будто опалило его невыносимой мукой. Чтобы поскорее отвязаться от этой боли, он набрал в себя как можно более воздуха, точно готовясь опуститься в бездонный омут. И широко взмахнул топором.

Быстро и осторожно спрыгнув затем с печи упругим скачком зверя, он на минуту прилёг на лавке, чтобы раздышаться, и пошёл затем за перегородку к солдатке. Та спала на спине, и удар топора перерубил ей горло.

«И ни одной улики!» — шепнули высокому, когда он выходил за дверь.

«А печать душегуба?» — спросил его тихий голос, изнывающий в смертной тоске.

Высокий подошёл к воротам и глухо сказал тем двум:

— Вот всё. Угадайте, что я сей минут сделал?

«А вдруг да они угадают?» — тоскливо шепнули внутри его.

Горбатый поглядел ему в глаза, и всё его лицо свело мелкой морщиной.

А кривоногий шёпотом выкрикнул:

— Ужли ты их обоих? Топором?

«И я тоже хорош, — подумал высокий. — У самого топор окровавленный в руках, а я ещё их спрашиваю. Догадались по топору! Очень просто!»

— Чтобы лишних уличениев не было в случае чего, — проговорил он глухо, широко и с усилием растягивая рот, но ещё вздрагивая в плечах.

Он подошёл к плетню, тяжко облокотился на него, словно желая слиться с тьмою и мутью.

— Братики, товарищи! — вырвалось у него слезливо. — Обождите малость, дайте отойтить костям! Все суставики мне обломало!

Те переглянулись, колеблясь. Из-под бани вынырнула Плутовка и, сев наземь, вдруг протяжно и звонко завыла. За плетнём ей отозвались сердитым лаем Полкан и Разбойник.

«Почуяла смерть на дворе, пёсья природа, — подумал высокий. — А?»

— Ну, а теперича, адя! Адя! Адя! — злобно прошептал он тем двум.

Те быстро приподнялись на ноги. Ветер, обдувая их лица, плакался скорбно, гудя между постройками: «И обманет!»

— Адя! Адя!

Тьма плотнее обволакивала их, сдавливая их груди. Весь крутясь в порывистых и беспорядочных движениях, кривоногий подскочил к высокому и заговорил быстрым, шуршащим шёпотом:

— Вызывай, когда так, Володьку, сукина сына! Эт-ту заплату с-сукину в первую голову под неприятность подвести надыть! Хуть там орудиев и никаких нет! — Он кивнул на тусклые стены дома.

Высокий протяжно свистнул. Горбатый прислушался, весь замирая.

Лес монотонно гудел: «Обманет!»

## IV

Стягин спал крепко и сразу проснулся, точно к нему неприятно прикоснулся чей-то холодный и костлявый палец. Он широко раскрыл глаза, вдруг ощутив беспокойство. В углу, у образов, тускло горела лампадка, в окно глядела непогодная муть. Над крышей шумел ветер. Тяжело приподнявшись с постели, Стягин подошёл к окну и заглянул во двор. Но на дворе всё было благообразно, как и всегда, постройки крепко и прочно стояли на своих местах с деловитым и хозяйственным видом.

— Видишь, всё добро твоё целёхонько, — словно сказали они ему. — Мы оберегаем! Вот видишь?

Стягин вздохнул, почёсывая круглую седую бороду.

«Целёхонько всё, — подумал он. — Только молодость и смелость у меня спёрли! И вы недосмотрели! Да!»

Он повернул было к постели и опять подошёл к окну, чем-то тоскливо взбудораженный. Весь припав к стеклу, он снова стал глядеть во двор. Будто какое-то жадное насекомое цепко присосалось к его сердцу, наполняя его всего щемящей болью. Но на дворе и на этот раз он не заметил ничего подозрительного.

«Чего же я волнуюсь, когда так? — спросил он себя. — Ишь, на дворе всё благополучно и благопристойно. О чём же беспокойство-то моё?»

И сейчас же он ответил себе: «Беспокоюсь потому, что денег больно много накопил. Ух! — вздохнул он всей грудью. — И без денег худо. И с деньгами одни неприятности!»

Он подошёл к постели жены, почёсываясь и кряхтя. Та спала, широко раскрыв рот.

— Мамаша! — позвал он её жалобно.

Она не отзывалась, благодушно похрапывая, точно полоскала горло.

— Эх, мамаша, — прошептал он грустно, — ограбили нас с тобой начисто. Молодость-то ведь и у меня, и у тебя спёрли. А тебе и невдомёк! Мамаша, мамаша! Эх!

Он тронул её за плечо осторожно и легонько, полный жалости к ней и к себе. Та всё ещё не просыпалась, и он заговорил над ней скорбно и вразумительно:

— Страшна, мамаша, жизнь человеческая. Ох, страшна! Зуб за зубом она у человека отбирает, волос за волосом выщипывает. Гр-ра-бители! — вдруг выругался он.

И весь качнулся, внезапно поймав ухом какой-то подозрительный шорох как бы в самом доме. Он замер. А потом зажёг свечу и со свечой в руках обошёл весь дом. Половицы жутко скрипели под его ногами, и тень металась по стенам, точно за ним тихохонько крался кто-то неведомый и безгранично страшный. Светя себе, он обошёл так все комнаты. Но комнаты были сонны и тихи. Они тоже как будто спали. И каждая комната при его появлении точно раскрывала заспанные глаза, разбуженная светом свечи, и говорила ему: «И у нас, слава богу, всё благополучно и — слышишь? — тихо!»

Он заглянул и на кухню. В удушливом тепле Лидочка спала, разметавшись, оголившись до самых мышек, с блаженной улыбкой на жирных губах. «Бесстыдница, ещё, пожалуй, мужика во сне видит», — подумал Стягин сердито.

И сейчас же тоскливо добавил: «Что же? Придёт время, и у неё всех мужиков отберут. Кто?»

Он снова пошёл в ту комнату, которая служила им столовой и залом, и окна которой выходили в сад.

— Мышь это под полом шелохнулась, а я испугался, — успокаивал он себя, — мышь!

Но тоска всё не отходила от его сердца, тонко пронизывая его своим ядовитым жалом. Поставив свечу на стол, примкнутый к самому окну, он заглянул через это окно в сад, загораживая ладонью свет от свечи. Стул, стоявший у стола, отразился в стекле и, казалось, находился по ту сторону окна, и странно висел где-то в воздухе, под ветками яблони. Старик беспокойно припал к этому окну. Но стекло тотчас запотело от его дыхания и стало непроницаемым, как дерево. Он отёр отпотевшее окно и с жутью на сердце припал к нему. Но он видел только, как лениво шевелились ветки деревьев, гудя, как потревоженные пчёлы, да сизую муть, застилавшую собою всё, и ничего больше. Он попробовал тогда напряжённо прислушаться, и весь притих в позе самого томительного беспокойства. Но сперва его слух не улавливал решительно ничего, кроме шума крови, бившейся в его жилах судорожными толчками. А потом ему почудился шорох и шёпот там, за листвою яблонь. Он быстро потушил свечу и упёрся лбом в стекло. И сперва

он ничего не видел, будто его глаза завесили тьмою, среди которой лишь беспорядочно кувыркались огненные колёсики. Затем тьма эта раздвинулась, с шорохом разрываясь надвое. И тогда он увидел четырёх человек, выдвинувшихся из тьмы мутными призраками.

Кто-то, словно посторонний, сказал ему: «Ишь, Зиновей говорил, что трое. А тут четверо. Ишь!»

«Быть беде!» — пронеслось в нём, как тоскливый вой ветра.

Но четыре мутных призрака исчезли.

Уж точно видел ли он их? Чтобы проверить себя, он подождал ещё, не отрываясь от окна. И вдруг побежал в спальню немощными и старческими шажками. Тряся жену за плечо, он вскрикнул:

— Мамаша! Мамаша!

— Ну? — Та сразу проснулась, с трудом раскрывая глаза.

— Они пришли, знаю зачем, знаю зачем, — бормотал он беспорядочно.

— Чего? — недоумевая, переспросила жена.

Овладев несколько собой, он повторил уже вполне ясно:

— Мамаша, знаю я, зачем они пришли сюда!

Несмотря на то, что её глаза ещё плохо глядели спросонок, она всё же хорошо увидела всю тоску, трепетавшую на его взбаламученном лице.

— Кто они? — спросила она тихо, сама вдруг тяжко пугаясь чего-то.

— Они, — повторил он с тем же выражением щемящей боли и смертельной тоски. — Прослышали, видимо, что Левонтия дома нет. И про деньги наши!

И она теперь уже поняла, кого он разумел под этим удручавшим её словом «они».

— Зачем? — снова спросила она мужа, низко виснувшего над ней.

Его лицо странно моргнуло, и его губы раздвинулись, но слова не вырывались оттуда, точно завязнув в зеве.

— Чтобы убить нас, — вырвалось наконец из этих губ.

И из его глаз вдруг выкатились слёзы, немощные слёзы тоски и ужаса.

— Папочка! Да что ты! — воскликнула старуха, стремительно приподымаясь.

Она поспешно стала набрасывать на себя одежды, путаясь в их складках.

— Папочка, папочка, — шептала она тоном причитанья.

А он стоял перед ней, одряхлевший и такой жалкий. Однако снова, видимо, овладев собой, он опять двинулся к окну, немощно шмыгая ногами.

— Папочка, или ты их видел? — спросила старуха.

Тот замахал ей рукой.

— Тише!

Теперь он уже увидел ясно. Из-за угла дома выходили четыре человека, видимо, направляясь к окну спальни и двигаясь все в ряд, плечо с плечом, осторожно, медленно, но решительно.

Он впился в них глазами, качнувшись, стараясь в то же время спрятать себя за косяком окна. И тогда он узнал в шедшем справа парнишку Володьку, бывшего у него эту зиму истопником и коловшего на всю усадьбу дрова.

— Володька их сюда привёл. Разбойников-то. Володька-истопник, помнишь? — шёпотом сообщил он жене.

С постели послышался такой же шёпот:

— Ай они идут сюда? Матери, святые чудотворцы!

— С-с-с! — сделал Стягин губами.

— Идут? — опять послышалось с постели.

— Да.

— Господи! Отца и Сына, и Святого Духа!

— Четверо.

— Ой!

На постели послышались клокочущие рыдания. И их звуки точно пробудили в раздавленном сердце Стягина угасшую смелость и решительность.

Он успокоительно сказал жене:

— Ну, будя, будя, старуха. У нас и орудие, и заряды. А Бог-то, окроме этого. Иль он не видит?

Он поспешно подошёл к своей постели, снял с гвоздя двустволку и взвёл курки, оглядывая ружьё. На правом капсюле пистона, однако, не оказалось.

И Стягин тотчас же вспомнил. На той неделе из ружья стрелял сын Леонтий в цаплю. Та только что пожаловала с прилёта, и сын рассчитывал найти в её желудке алмаз.

— Глядишь, в полтысячи рублей, — говорил он отцу, — иль больше!..

Но алмаза он не нашёл, цапли не убил. А из двух зарядов, имевшихся в доме, один уже испортил. Старик покрутил шеей, оглядывая левый, заряженный ствол.

— Ну, будя, будя, — успокоительно пробурчал он жене. — У нас, слава тебе, заряды!

Выставив вперёд ружье, он стал у окна, прячась за косяком и поглядывая в окно. Те мутные призраки тоже стояли, прячась у стены дома, вдруг точно охваченные нерешительностью. А затем и совсем куда-то исчезли, точно растворившись в сумрачную сизь.

— Ушли!

— Ой! Ужли ружья испугались?

— С-с-с! Опять идут. От погреба.

— Четверо?

— Четверо!

— Слышишь, Плутовка завыла?

— И Полкан лает!

— Теперь они уйдут. Собак испугаются. Уйдут! Ушли?

— С-с-с!..

— Уходят?

— Нет, стоят у крыльца.

— Духа... И ныне, и присно... Ушли?

— Нет.

— Ушли?

— Скрылись за погребом. Опять идут!

— Сюда?

—Да!

Тяжкие всхлипыванья беспокойно заметались по комнате. И старик закряхтел, прячась за косяком.

— Будя! Бог милостив!

— Идут?

— Стоят.

— Где?

— В двух шагах от окна.

— У спальни?

—Да!

В голове старика мелькнуло: «Ужли же это смерть?»

## V

Лидочка, разбуженная Дарьей Панкратьевной, долго не понимала, в чём дело, и, блаженно улыбаясь, равнодушно спрашивала хозяйку:

— И что же из этого?

Но потом, когда она поняла, какой страшный гость пришёл на лесной хутор, её будто всю накрыло чёрной шапкой. Она заметалась. Выдвинула из-под кровати свой окованный жестью сундучок и села на него. Бросилась затем одеваться. Поверх рубашки опоясалась фартуком и надела кургузую зимнюю душегрейку. Опять села на сундук. И вдруг почувствовала к обоим старикам тяжёлую ненависть и злобу. Ведь деньги-то у них, у хозяев. И неужели она должна погибать из-за их денег? Или её мохры кому нужны? Но ощущение холодного и щемящего ужаса вскоре потопили в себе даже и эту глухую злобу. Она вместе с хозяйкой заметалась по всем комнатам, исходя в беспомощных причитаниях, вся охваченная одною мучительною тоскою.

А те четверо всё ходили вдоль стены дома, едва вырисовываясь среди мути, осторожно оглядывая окно за окном и словно бы ища удобного места для стремительного натиска. И Стягин, затаив дыхание, переходил вслед за ними от окна к окну, неслышно двигаясь, прилипая к косякам и выставляя перед собою дуло своего ружья. Его мозг напряжённо работал, выкидывая ему мысль за мыслью, весь, видимо, насыщенный единственным желанием во что бы то ни стало отстоять свою жизнь. Только бы суметь продержаться до утра. Только бы до утра! А там приедет сын Леонтий с рабочими и поднимут булгу и шум на весь лес. А в двух верстах работают пильщики. Сын поднимет и их на помощь. И те призраки, страшные, страшные, страшные, те убегут.

«Врёте! Убежите! Врёте!» — хотелось нашёптывать Стягину злорадно.

Но как продержаться до утра? С одним зарядом? Разве попробовать вступить с ними в переговоры? С теми, страшными? Пообещать выкинуть им в фортку три тысячи рублей? Или хоть полторы? Или больше? Может, те соблазнятся? А что, если они убьют его во время этих переговоров? Пристрелят? Ишь, ведь они запаслись огнестрельным орудием!

— Т-с-с, тише!

Шёпот, как шорох сухой соломы, шуршит среди сумрака.

— Ушли?

— Нет! Ходят вдоль стен! Здеся!

— Здесь?

— Выглядывают! Ходят! Слышишь?

— А кто это словно заплакал?

— Ветер.

— Гос-поди!

— Лидочка, а ты не суйся к окну: убьют единым духом!

— Через ваши деньги!

— Лидочка! А на страшном суде что ответишь? Он-то всё видит! Бог!

— Чью хлеб-соль ела? Ихнюю?

— Не попрекайте вы меня, поилицы-кормилицы! Смертный час, страшно! Ох, боюсь, боюсь, боюсь я.

Стягин мотнулся к окну столовой. Страшный шорох пронёсся там. Будто звено выдавливают. Ужели выдавили? Выдавили! Вон два жёлтых лица смутно в продавленном отверстии мерещатся. А где двое других? Ух, и в спальне тот же пронзительный, сверлящий сердце шорох. И там выдавливают звено? Разделились и с двух противоположных сторон нападение, видимо, повели. До чего хитры, до чего хитры!

Стягин выдвинулся к окну, весь припадая к стене. И выставил к продавленному звену ружье. Пусть нажгутся на ствол! Ага, увидели ружье и спрыгнули с фундамента. Кирпич, шурша, известь осыпал. Убежали! Далеко ли? Теперь скорее в спальню. Только бы там не опоздать. Будто мутная волна в грудь плеснула: «Опоздаешь!»

И всего засосало в себя тоскливое отчаяние, липкое, как паутина: «Ужли смерть? Сейчас?»

Нет, ещё не влезли в комнату. Пусть тогда понюхают ствол ружья. Вот так. Злоба и отчаяние переплетаются в сердце, как два борца в последней схватке. А вдруг как отобьют ружейный ствол и навстречу грохнет смертельный выстрел? Его, пожалуй, и не услышишь? Или услышишь?

И эти испугались. Поспешно отпрянули от окошка, смешавшись с мутью. Где теперь они? Шаги поспешно шлёпают по лужам. Точно жуют грязную жижу.

— Ушли?

— Ушли.

— Совсем?

— Опять у погреба совещаются. Чуть видать.

— Четверо?

— Четверо.

Над Стягиным словно молния распахнулась, неярко толкнув мозг. Окна надо мебелью заставлять, которая потяжелее. Да! Впрочем, сколько в их дому окон? Раз, два, семь...

— Заставляйте чем ни попало окна. Лидочка, волоки кухонный стол, кушетку. Кресла... Чего потяжельше!

— Уходят?

— Шкафчик буфетный!

— Четверговую свечку хорошо бы затеплить. Она и небесную грозу отводит. Даже вплоть до самого градобития. А не то что земную юдоль!

— Тюфяк сталкивай!

— Ушли? С кровати тюфяк?

— Где у вас четверговые свечи схоронены?

— Где-где? Или я у тебя прислугой? Почём мне жалованье положите?

— В такую минуту ругаться? Ох-хо-хо!

— Лидочка, прости меня, окаянную!

— Где свечи?

— За царём Константином!

Ужас вошёл в их дом, ужас, ужас, и не надо более никаких счётов, никаких распрей. Пусть душа растроганно плачет, упиваясь одним всепрощением.

— Уходят?

— Стол примкни к окошку. А на столь взваливай комод.

— За царём Константином одни вербы!

Все трое они напрягли силы, заставляя окна мебелью, перебегая из комнаты в комнату, точно застигнутые пожаром, тяжело дыша и перешёптываясь. И им всё казалось, что вместе с ними по комнатам бродит ещё кто-то четвёртый, невидимый, неосязаемый и неизмеримо страшный.

Не он ли завыл сейчас в трубе, звякнул заслонкой? Его дыхание ощущалось всеми ими как ужас, надрывая их силы. Но всё же им удалось защитить четыре окна весьма основательно. Стягину приходилось теперь оберегать лишь три. Сжимая ружьё, он лишь к этим окнам неслышно перебегал, как тень, весь пытаясь уйти в зрение и слух. И он снова увидел их, тех непрошенных и страшных. Вот они мелькнули у водосточной трубы, осторожно скользнув друг за дружкой. Как ненастные облака. Один вскарабкался на фундамент, шаркнув подошвой по кирпичу. Трое липнут к тесовой обшивке стены. Появились у окна, защищённого буфетным шкапом. Разглядывают защиту. Разглядели. Перешепнулись. Тот спрыгнул с фундамента сильным скачком гордого зверя. За спиною старика опять плачет шепотливое причитанье:

— Всё не ушли? Не испужались наших застав?

— С-с-с… Мамаша…

— Ушли?

— Не совсем…

— Совет держат?

— Да.

— У погреба?

— Отошли к амбарам.

— Всё у амбаров?

— Выволокли бревно. Несут!

— Бревно несут… Зачем оно им понадобилось?

Старика точно откинуло от окна, и ружье чуть не упало из руки. Сказать старухе, зачем им понадобилось бревно, или не говорить? Пусть успокоится в неведении. Лучше не говорить.

— Зачем им бревно? Папаша!

— А я знаю?

Мозг кровавой мглою подёрнуло, и дыхание в горле жёстким ледяным клубком свернулось. Зачем им это бревно? Окна они им будут высаживать вместе со всею их защитой. Всё размечут в щепу и ворвутся в комнаты, как злая непогодь. Но он не скажет этого старухе. Эх, кабы Леонтий дома! Леонтий! Леонтий!

— Мамаша! Четверговая свеча за Дмитрием Солунским. Слышала?

— Слышу!

— Лидочка! А ты из кухни кочергу волоки. Ты баба в силах. Глядишь, отмолотишься.

— Ушли с бревном-то?

— Старуха…

Во мраке что-то тяжко грохнуло, обрушивая у окна всю защиту. Со звоном посыпались стекла. Где это? Рядом?

— Старуха…

Опять тот же грохот, похожий на раскат грома, и опять, и опять. Сырым ветром пахнуло в самое лицо. Не дыхание ли это смерти?

— Духа… Отца и Сына.

— Старуха…

Четыре окна выбиты. И в комнате рядом слышен зловещий шорох. Стул повалили. Глаза холодная паутина обволакивает. Не разобрать даже лица старухи. Вот её рука. Наощупь холодная как лёд и вся ходуном ходит. Эх, Леонтий, Леонтий! Сын! Вон в дверях метнулась чья-то тень! Должно, они. Страшные! Никак впереди Володька? А сзади точно бы горбатый. Да, горбатый. Ишь, как одежду на спине взбучило. А там ещё и ещё. Теперь, никак, время стрелять? В кого? В Володьку?

Стягин неловко повёл ружьём. Выстрел словно разнёс стены дома, всё превращая в сизую гарь. Но он всё же видел: упал горбатый. Упал, но опять быстро вскочил на ноги. И все исчезли. Все. Точно их унесло непогодным ветром. Но вот опять смутный шорох у самого окна, напротив. Или это ветер? Нет, они. Они! Три руки осторожно выставились из-за косяка. А в этих руках что? Руки колеблются, точно ища кого-то. Кого? Он увидел: словно три огненных птицы бурно взметнулись среди жуткого мрака комнаты, и старуха, тяжело оседая, повалилась ему в ноги. Убили они её? Убили?

— У-убили!

Дико потрясая ружьём, Стягин полез к окну напролом. Но у самого окна три огненных птицы встретили и его, закрутив его жгучей бурей, широко раскидывая пламенные крылья. Куда они несут его? В какие страны?

## VI

Они шли лесом, поспешно и горбясь, сопровождаемые сумрачными призраками и розовыми вспышками пожарища. Но всех их было уже

не четверо, а только трое. Не было с ними самого меньшего, парнишки, уже давно возбуждавшего удушливую злобу в сердце кривоногого.

— Кто глазные проранки слезливой слюной муслит, тот нам не друг! — уже давно нашёптывал он в уши высокого. — Так или не так? Крот ястребам не пара!

— Выдаст он всех нас, выдаст, выдаст! — жужжало в самое ухо высокого.

И тот судорожно кривил крупные губы.

— Так, так, стало быть, так. Довёл он нас сюда, и спасибо. Ай мы обратной дороги без него не найдём?

— Помяни моё слово: из ветхой заплаты воинской амуниции не выкроишь! Глиста хуть по-змеиному ползает, да не змея!

— Так. Складно. И из молодого цыплёнка под старость только курица выйдет!

Когда деньги были уже найдены ими в разбитом комоде Стягина и парнишка стоял рядом, оглядывая всё широкими, испуганными глазами, кривоногий убил его выстрелом сзади под левую лопатку. А чтобы лицо убитого, даже обгорелое после пожара, не было кем-либо признано хотя бы по единой уцелевшей чёрточке, кривоногий разбил над ним бутыль керосина.

— Удаление лишних уличениев, — сурово выдохнул мрак, ещё весь проникнутый пороховой гарью.

— И для примера всем нам!

— Всем трём! Живите с оглядкой!

Меж тем в лесу было бы совсем темно, если бы не эти розовые блики, бросаемые им вдогонку пожарищем, как огненные головни. Только они помогали разбираться среди сумрака и не натыкаться на корявые пни и предательский коряжник, прячущийся среди папоротника. Те трое шли без дороги, пренебрегая тропинкой, желая, наоборот, углубиться в самую невылазную чащу. Кто знает, быть может, за ними вот-вот поскачет бешеная погоня. Тропинки и дороги окажут им тогда только медвежью услугу. Ибо лошади им всё равно не обогнать. А дремучая чаща и всадника сделает пешим.

— Забирай в самую чащу!

— Лес не выдаст, погоня не съест!

Розовые пятна стали величиною в птицу. Не больше тетерева во время полёта, пожалуй. А потом и совсем замигали робкими

звёздами. И потухли вскоре, как догоревшие в печке угли. «Как остеклевшие глаза убитого», — пришло на ум горбатого жуткое и непрошенное сравнение.

Они всё шли и шли.

— Забирай в самую чащу!

Мрак сгущался, и ветер шипел над лесом злорадно и торжествующе, как вода, одолевающая плотину. Косматые облака цеплялись за верхние ветки, словно желая перебраться по ним поближе к земле, чтобы рассмотреть их лица. Этих уныло бредущих в холодной тьме.

«Рассмотрю, запомню и обличу! Я — улика!» — чудилось всем им.

Высокий остановился, склабясь, и вместе с тем робея.

«Ты уличишь?» — мысленно спросил он кого-то, весь изнывая в едком вызове и страхе.

В нём же ему ответили: «Я».

«Как?»

«Явлюсь в последний час к изголовью как ласковый брат и друг. И тем сокрушу тебе ребра как злейший враг!»

Томительный ужас стремительно вошёл в сердце высокого, и он первый бросился бежать бегом в ту минуту, когда они были уже далеко от той усадьбы и когда никакой прямой опасности как будто бы им не угрожало. Кривоногий догнал его и спросил:

— Ай учуял погоню? Где?

Высокому хотелось воскликнуть: «Погоня! А ты или не видишь её?»

Но он промолчал. Сделал над собою усилие и пошёл шагом.

«Погоня плечо в плечо с нами идёт, — кружилось в нём, — мы сами эт-та самая погоня! Эт-та погоня!»

Он попробовал было усмехнуться, но лицо только мучительно искривилось тупой болью.

— А может, и пронесёт тучу? — вздохнул он вслух.

Они прошли ещё час или два, пока вверху над ними засинел робкий рассвет и пока ноги ещё повиновались им. Тут же, среди непролазной чащи, у подмытых ливнями корней вяза они выбрали себе точно звериное логово и решили расположиться здесь на ночлег, чувствуя от усталости тошноту и ломоту.

Подложив под головы свои котомки, они тяжело растянулись в этой тёмной и сырой норе. И вскоре заснули под монотонное гуденье ветра.

Впрочем, горбатому совсем было не до сна. Боковыми дробинами стягинского выстрела ему поранило живот, о чём знали и высокий, и кривоногий. Поранение было очень лёгкое, и боль почти не мучила горбатого. Не спалось ему совсем по другой причине. И вот отчего именно. Он хорошо сознавал. Ведь и высокий, и кривоногий, зная о его поранении, могли думать, что как ни легко оно, но всё же горбатому придётся в конце концов обратиться к помощи врача. А это обстоятельство может оказаться, с точки зрения его сотоварищей, весьма грозным обличением для раскрытая их преступления. Его сотоварищи ведь вполне могли думать так. И, может быть, они давно уже глядят на него вот именно так, считая его уже не за человека, а за неприятную улику.

«Лишнее уличение», — вдруг шепнёт высокий кривоногому, кивая на него.

А тот ответит шёпотом, похожим на лязг ножа:

«А ништо и его нельзя? Или почеремонимся?»

«Спроворить?»

Когда те двое уже громко похрапывали, горбатый всё ещё сидел возле, молчаливый, с посиневшим лицом, тоскливо вглядываясь в клубящийся сумрак. И его мозг неотступно сверлило: «Ужли это так? Ужли я для них лишнее уличенье? Только?»

## VII

Горбатый решился не спать вплоть до пробуждение тех двух. Кто ещё знает, впрочем, спят ли они. Ведь весьма возможно, что они не спят и лишь притворяются сонными, томительно поджидая того момента, когда заснёт он, горбатый, чтобы затем тотчас же расправиться с ним, как с грозной уликой. Вот у высокого как будто задрожали ресницы. Притворно щуря глаза, уж не следит ли он за робкими движениями этой улики на двух ногах? Что, если это так? Горбатый, пронизывая сумрак, впился в лицо высокого. Что это за жуткий шорох коснулся сейчас слуха горбатого? Никак шевельнулся тот, кривоногий? Его рука как будто осторожно потянулась к карману. Тому самому, где у него сохраняется жестокое оружие. Зачем оно понадобилось сейчас ему?

Нет, это только так почудилось взбудораженному глазу.

Кривоногий не шелохнётся и храпит, как зарезанный. Это сонная птичка зашевелилась в кустах. Ветер перешепнулся с листом. Ветка поласкалась о ветку. Хорошо бы быть сейчас безмятежною птицей. Или красивым и стройным лесным деревом. Без греха живёт оно и без греха берёт всё, что ему нужно, от матери-земли. А ещё лучше затеплиться далеко над землёю, как вон та звезда. Ишь, какая она светлая да лучезарная! Тёплое облако сна, будто обволакивавшее горбатого, вдруг расторглось, тая. Он раскрыл смыкавшиеся было глаза и весь беспокойно насторожился. Никак высокий проснулся и в упор глядит на него холодными, беспокойными глазами? Нет, это снова почудилось. Горбатый приподнялся, встав на ноги. Ещё раз внимательно оглядев неподвижные тела сотоварищей, он сделал несколько шагов и сел, прислонясь спиною к стволу дерева.

«Спят они или только притворяются?» — томительно кружилось в нём тоскливым колесом.

Ох, как ещё долго до рассвета! А главное — надо стараться не заснуть самому. Упаси господи, если его одолеет эта надвигающаяся на него дрёма.

— Прикончат они меня тогда, беспременно прикончат, — чуть шевелятся посиневшие губы. — Как Володьку!

Спина невольно плотнее жмётся к корявому стволу. Ишь, как ещё сумрачно небо! Тучи всё ещё хмуры. Куда несутся они так поспешно? В счастливые страны? Есть ли такие на земле? Где люди живут, как братья, одною любовною семьёю...

«А главное — не надо спать! Убьют!»

«Кто?»

«У-убьют! Т-сс... Помалкивай!»

«Они?»

«С-с-с... Не выдавай! Я знаю, что знаю! С-с-с!..»

Главное — спать не надо. Или попробовать? Заснуть? Была не была!

Нет, ни за что! Убьют!

Вон туча. Туча. А на туче изба. Из окна мамка выглядывает. Его ждёт.

«Мама!»

«Чего?»

«Я деньги принёс».

«Ой?»

«Мно-го-размного. Угадай, сколько? Ну? Полторы тысячи, может! Мы, маманя, на эти деньги чистенькую торговлю заведём».

«О?»

«Не сойти с места. Корки хлеба у нас другой раз не хватало, корки хлеба! А теперь мы чистыми людьми жить будем. По-настоящему».

«Чистыми?»

«Я, мамка, себе часы куплю. И в подштанниках теперь буду ходить. Сверху штаны, а внизу подштанники. В грязь поверх сапога — резиновую калошь! Да! К людям в чистую горенку, например, войти — полов не замараю. Чистый человек, скажут, вошёл. Все! Люди-то! Людишки-то, ядри их в корень!»

«Чистый человек?»

«Скажут!»

«И с чистою душой?»

«Мамка! Мамынька! Мама! Обмой ты мне душеньку своею любовною слёзкой! С-саднит ведь! С-саднит! Душеньку!»

Главное — не надо спать! Это перво-наперво! Тучу надвое разорвало. И избу всю покривило, как предсмертной судорогой.

«Мамка! Мамусенька!»

«Чего, сынок? Сы-ыно-ок!»

«Я в старуху умышленно мимо целил. О тебе вспомнил. Думаю себе: и у неё сын! Высокий-то приказал, Митрий-то, а я на два аршина выше головы свой прицел взял. Всю дисциплину разбойную нарушил. Из свово леворверта с умыслом, и вдруг мимо!»

«Мимо?»

«А в старике, видимо, повинен. Я, твоё детище! Очень уж он возле был. И за себя я испужался. За свой собственный горб обомлел. В виде это самообороны, маманя! И он один! Один, — судорожно шевелятся сонные губы горбатого, — у меня на совести-то!»

«Один?»

«Мамочка, я ему в рот выстрелил. Аж у него усы задымились! И огнём бороду обожгло. Стра-ашно!»

«Сыно-о-к!»

«Мама! Мамка! Мамок! И душу мне обожгло этим огнём! Всю душеньку! С-с-с! Помалкивай! Убьют они нас с тобой! У-убьют!»

Жуткая тоска сосёт сердце, как не знающая сна змея.

Филин совсем рядышком крикнул пронзительно, словно в ухо острую иглу воткнул.

Главное — не надо спать!

Горбатый силился раскрыть глаза, но ресницы словно липким тенётником осыпали. Ишь, склеиваются — не разомкнуть проклятых.

Надо думать о чём-нибудь тихом-тихом и благодушном. И не плакать. А то услышат они, они! И тогда быть беде!

«Мамка!»

«Чего?»

И вовсе нет около него мамки. Всё это сонные грёзы, переплетённые с жуткой явью. Фу, чуть было не уснул горбатый! Голова-то совсем в колени уткнулась. Нет, теперь шалишь, не уснёт он!

Ишь, тёмный всадник на вороной лошади мимо самых глаз шарахнул. Инда ветер в лицо будто мокрыми опилками шаркнул.

«Стой, мил человек, стой! Аль в погонь за кем метишь?»

«На стягинском хуторе разбойное происшествие. Четыре души порешили. Слышал? Или, бишь, пять! Пять душ!»

«Кто?»

«Известно, кто: злые люди! Ангелы разбоем не занимаются!»

«Мил человек! Постанови себе за пример — на земле нет злых людей. Видел. В колыбели все равно святы. На земле есть только озлобленные люди! Понял? Озлобленные, мил человек!»

«Мне это ни к чему. Что злой, что озлобленный. Аль смерть-то от озлобленного слаще пахнет?»

«Нет, постанови себе за пример для выяснения правды! Постанови злой завсегда злой. А озлобленный за утро же может стать добрым. Понял?»

«Он же, например, меня убьёт, и он над моею могилой опосля поплачет. Так?»

«Мил человек! Ты вон в какую сторону гнёшь! В самую мою больную язву! Мил человек!»

Дыхание комком спирается в груди горбатого. Он сильно крутит шеей и вдруг узнаёт в чёрном всаднике Стягина. По круглой седой бороде словно синее пламя трепещет, и белые усы дымятся пороховой гарью. А стеклянные глаза тупо подмигивают.

«Хочешь со мной вприсядку плясать? — слышит горбатый его удушливый шёпот. — Вприсядку? Хочешь? Ты — в новых подштанниках

и при часах, а я только в одной резиновой калоше! Ну, валяй! Ради примиренья! Погляжу я, как на тебе часовая цепочка забултыхает. Ась? Ну, айда веселей! Айда!»

Старое, громоздкое тело всё извивается, будто среди красного вихря, и горбатый слышит: «Ну, жарь веселей! С перебором! Под гармонь! Ходи, изба, ходи, печь! Сыпь пронзительней! Цепочкой-то авантажней бултыхай! Распадись бисером! У-у, сыпь!»

И горбатого подхватывает неуёмный вихрь.

— Стягин! — вырывается из горла горбатого. — Стягин! Стягин!

Красный вихрь быстро кружится перед его глазами, и он слышит: «Чего ты? Кого ещё сюда кличешь? Зачем?»

Он раскрывает глаза и видит перед собою высокого. Тот стоит рядом, будто ёжась и пряча руки в карманы куртки.

— Чего ты?

— С-саднит! Всею душеньку измотало! У-у! У-у! Ай я каменный? Митрий, родимый!

— Ну?

— Кабы знать всё наперёд. Не иттить бы мне с вами. Нет! Не хочу!

— Теперича поздно! Самого себя за загривок зубом не схватишь?

— Эх, Митрий, Митрий, Митрий!

— Теперича у нас один маршрут: чтобы без единой улики! Понял? Фенди-бренди нам оставить надо! Цыц, не плачь, сволочь паршивая!

— Митрий, кого ты ругаешь? Митрий!

— А я знаю? Може, себя! И у меня на душе не кисель с сахаром, да видишь: зубы стиснул и молчок! И в башке одна заботушка все шоколадные фенди-бренди вытравила. Единая заботушка.

— Всё та же?

— А то нет? Единая! Чтобы никаких уличиев!

И горбатый, и высокий вздохнули и замолчали. Ветер закачал над ними ветками и стих. Будто вздохнул старый лес всей своей зелёной грудью.

— Слушай, — вдруг выговорил высокий, — только отвечай по правде! Слышишь?

Горбатого всего тоской окрутило. Понял он, что высокий к нему сейчас с самым существенным вопросом обратится.

— Слышу! Говори!

Но высокий, видимо, не решался подойти к нему с этим наисущественным вопросом и опять примолк, ёжась и сутулясь.

Кривоногий храпел. Не притворно ли?

## VIII

Вдруг тихо стало, и даже ветер дыхание своё остановил в бурной груди. Жёлтое лицо высокого серым стало, и крупные губы чуть осклабились.

— Ну, говори, — наконец вытащил он из себя, — здорово тебе брюшину отполировали? А? На этом самом футоре? Здорово, небось?

Горбатый сжался, и словно стужей ноги ему опахнуло. В голове будто мутные волокна тумана шевельнулись. Так и схватила за сердце жестокая мысль: «А зачем он руки-то в карманах держит? Леворверт нащупывает? Ой, пропадёт сейчас сиротская головушка».

— Нет, — еле выговорил горбатый. — Малость самую. В двух местечках махоньких кожицу чуть счаряпало!

— А если чуть счаряпало, почему же не спишь-то ты?

— А ты почём знаешь, что я не сплю? — вопросом же ответил горбатый.

И чуть вслух не договорил затаённую мысль: «Иль и тебе не до сна, за мной следить надобно?»

И в сердце, как в жарком котле, закипело. Выругаться крепко захотелось: «Чёртов сын, или я для тебя и впрямь только уличье на двух ногах?»

Стволы древесные даже зашевелились вокруг от мельканья в глазах.

— Слышу я, всё-то ты возишься, — опять проговорил высокий, — всё-то ты покрякиваешь, всё-то стонешь! И подальше от нас норовишь!

— От душевных треволнений.

— Крепись, — сказал высокий как будто с соболезнованием. — По тонкой жёрдочке через омут не всякий пройтить сможет, это верно. Нога-то цепкая, да головка-то слаба. Закружится и в омут столкнёт.

— У меня и головка ничего. Поколь не кружится будто. Митенька, я ведь не Володька!

— Крепись и обвыкай. В навозе жить — навозом и пахнуть. И круто посоленное завсегда солью должно отдавать. Нас посолили…

— Кто?

— Жисть! И теперь нам не к чему от солёного запаха морду воротчать. Понял? Обвыкаться нужно! — добавил высокий деревянным тоном.

— А я нешто не обвыкаюсь, Митрий?

— И обвыкайся! Принюхивайся к навозу-то! Всей ноздрёй принюхивайся!

— Стараюсь, принюхиваюсь! Ништо нет!

И снова в сердце, как в котле, вскипело: «А зачем руку-то у него в кармане, как судорогой, задёргало? Ужли орудие достаёт?»

Вот-вот ударит горбатого между бровей проклятый выстрел! Горбатый весь в комочек сжался и сладким, заискивающим голосом выкрикнул:

— Митрий! Веришь? Я вот как принюхался: кому навоз, а мне сладкий мёд! Веришь?

— Ну, это тоже ни к чему, навоз с мёдом мешать…

— Да я, к примеру, для твоего же удовольствия…

— И удовольствия мне от этого нисколько.

— К слову!

— А главное — надо помнить. Уличья за нами никакого, если только…

В горбатом всё беспокойно взметнулось. У переносицы даже пот выступил. Как капли холодного воска.

— Что, если только?

— Если только мы друг друга не выдадим. Мы сами.

«Ага, вон он в какую сторону гнёт, дьявольское наваждение! Явно, на его поранение, как на неустранимую улику, намекает».

Из губ горбатого едва вышло:

— М-мы?..

Уголки губ запрыгали, застуженные ознобом.

— Мы? Какой же нам фасон друг друга-то изобличать? Митрий, господь с тобою!

Высокий опустился на землю, касаясь коленом ног горбатого. А руки у него всё ещё в карманах. И лицо будто больше посерело. Тьма всколыхнулась, заколебалась и замерла. Наступит высокий сейчас коленом на ноги горбатого, и у самых глаз его взметнётся с грохотом огненное облако. Как пламенная колесница смерти.

Но ведь и в кармане горбатого тоже смертоносное орудие, заряженное шестью смертями. Разве засунуть незаметно руку в карман, чтобы быть на всякий случай наготове?

— Митрий!

— Что?

— Вон в том кусте никак глухарь завозился. Ма-а-теры-ый!

— Где?

— Вон там! — Ух, рука, наконец-то нашла карман и нащупала в нём холодное тело шестисмертки.

— Там? Глухарь-то?

— Нет. Чуть поправее.

Ништо на всякий случай взвести и курок? На всякий случай? Горбатый сделал над собою неимоверное усилие и не взвёл курка.

«Подожду, — решил он. — Точно ли я для него улика?»

— Это не глухарь, а ворона!

Высокий повернулся снова лицом к горбатому. Но теперь и у того обе руки в карманах. И ноги свои он успел отодвинуть от костлявых и жилистых колен. Что, захватишь теперь врасплох? Иль обожжёшься?

— Главное дело — вот чего, — возобновил высокий прерванный разговор. — Вот чего. Какое ни есть твоё поранение, но тебе к дохтору обращаться за лечением нельзя. Понял? Ни в каком деле нельзя. Слышишь?

Горбатый чуть не взвизгнул от неожиданности. Это что же такое? В какую сторону снова гнёт этот долговязый? Снова тычет в лицо явным и грозным намёком? В который раз! Горбатый хотел что-то ответить, но из его губ вырвался только невнятный шелест. Его снова стали мучить одышка и томительное головокружение.

«Ой, убьёт он тебя, убьёт!» — будто причитал кто-то в его уши жалобно ноющим голоском.

— Главное, бойся дохтора, — холодно и равнодушно выговаривал высокий. — Дохтор для нас — каторжная улика. В случае чего мы тебя лучше своим средством оправдаем. Своим!

В горбатом мучительно ныло: «Знаю я, какое это твоё средство, знаю! Сзади и в упор!»

— Своё средство, — устало и безучастно вытягивал высокий, точно колол сухие дрова, — своё средство куда бывает пользительнее

больничного. Слышишь? Да! Был у нас, например, в селе мужик, по прозванью Степной Козёл. Так он, не поверишь ли, самый обыкновенный мужской спинной чемирь чем лечил? Угадай!

— Чем? — рвётся с губ горбатого невнятный шелест.

— Угадай! Ну!

— Чем?

— Топором!

— Топором?! — тоскливо выкрикнул и горбатый. — За что? Митрий!

— Поставит, например, которого с обыкновенным мужским спинным чемирём на четвереньки и учнет ему лезвием топора надавливать и надавливать от зашейной кости и вплоть до причинных мест!

Высокий вдруг рассмеялся сердитым и рассыпчатым смехом, обдавшим горбатого будто ледяным душем.

— Так вот какие на свете болезни есть, — выговорил высокий сквозь этот резкий смех, — для которых лучшее домашнее средство — топор в умной руке. Д-да!

Глаза горбатого стали круглыми, и одышка сильно заколебала его грудь, неровно сотрясая даже угловатый горб на спине. Так вот он куда гнёт, большеротая ехидна! Вон он какую трель высвистывает!

Будто каменной стеною отгородили горбатого от всего мира, и все ощущения потухли в нём, захлёстнутом одной бесконечной жалостью лишь к самому себе. Убьют его этой ночью, убьют, убьют! Ишь как судорожно двигаются крупные губы на сероватом и будто безучастном и равнодушном лице. Горбатому хочется уткнуться в землю лицом и плакать, плакать. Мать сыра земля, ветер, небо! Иль вы не видите? Ведь его хотят убить вот эти жилистые руки, узловатые, как ветви дуба! Или ему надо решиться самому на последнюю отчаянную оборону? Горбатый болезненно кашлянул, преодолевая одышку, и словно огонёк некоторой надежды загорелся вдруг перед его тусклыми глазами. Приглядываясь к этому огоньку, он начал соображать, старательно напрягая мысль. Делёж денег, награбленных у Стягина, всего что-то свыше пяти тысяч рублей, с общего их согласия был назначен на завтра к вечеру, когда они выйдут из леса. Но что, если высокий согласится отдать горбатому его часть сейчас? Ведь тогда он может уйти от них потихоньку этой же ночью, не дожидаясь, пока его убьют. Отказаться от своей доли — это выше его сил.

«Таких денег псу под хвост не швыряют», — напряжённо размышлял горбатый.

Но если он получит свою часть, отчего же тогда и не уйти? Во всяком случае, ему надо на что-нибудь решаться и сейчас же. Ведь ему ни за что не выдержать без сна всей этой ночи. Он измучен донельзя. А если он, упаси господи, уснёт, его тотчас же убьют! Они! А он непременно уснёт. До полного рассвета ещё далеко. Небо чуть посветлело и словно застыло в этом сумрачном полусвете. Время будто и не движется вовсе. Уж бывает ли настоящий радостный рассвет в этой лесной прорве?

Горбатый задвигался всем телом.

— Митрий! — слезливо позвал он.

— Давно Митрий. А что?

— Сколько мы всего денег-то зарабо… добыли, — поправился горбатый.

— А ты забыл? Пять тысяч да две сотни, да сколько-то десятков. Вот они! Все тут! Небось, не ужилю! — высокий хлопнул себя по карману.

— Да я не о том…

— А о чём же?

— Как мы их делить-то будем?

— Как? Как сказывали! Мне, как попу, всех больше: две тысячи монет. А вам с кривоногим по полуторы тысячи да по сотне. А десятки сообща пропить можно будет. А тебя что печалит?

— А когда делёжка-то будет?

— Когда? И опять как сказывали. Смотри, завтра к вечеру. Когда мы к городу подходить будем!

Высокий, очевидно, был тоже обессилен бессонницей, и его язык начал заплетаться. Горбатый передохнул всей грудью и опять слезливо позвал:

— Митрий!

Его лицо всё заморгало, и он с усилием выговорил:

— А что, если бы ты мою долю сейчас мне отдал бы!

— Сейчас? Это к чему?

— Так.

Высокий смотрел в лицо горбатого и будто что-то соображал.

— Нельзя этого, — наконец проговорил он. — Никак нельзя! Надо по уговору делать. Всё по букве!

— Нельзя?

— Ни в каком разе! Вот подождёшь до завтра. Чать, не умрёшь!

И лицо, как камень, равнодушно. Видно, не переломишь окаянного!

Горбатый вздохнул, завозился, покряхтел и опять вздохнул. И вдруг, взметнувшись на ноги, прошептал:

— Митрий! Никак за нами погонь?

— Где?

Одним сильным скачком приподняло и высокого. И в голосе испуг дрогнул.

— Где?

— Вон там.

— Ай что услышал?

— Ш-шорох!

— Постой. Я прилягу наземь послушать. С-с! Не дыши!

— Ш-шорох! Там!

Высокий распластался на земле, припав к почве ухом. Горбатый взвёл в кармане курок и шагнул влево.

— Слышишь?

— С-с-с! Молчи!

— Ш-шорох!

Горб заколебался над спиною, как парус, и всё немощное тело будто искривило неодолимой бурей. Только рука вытянулась и замерла, как струна, чуть не касаясь затылка того, распростёртого. Оцепенелому сознанию выстрел послышался, как щелчок пальцев. Высокий остался лежать, как лежал, точно прислушиваясь к настигающей погоне. А перед глазами горбатого мигнула одна сплошная чёрная мгла, закрывая от него весь мир.

## IX

Сознание вернулось, но не скоро и не сразу, зарождаясь, как вода из оттаивающего льда, скупо и с перерывами, озаряя чёрную стену душной и тяжкой мглы. И тогда горбатый увидел небо и лес, тучи и того, неподвижно распростёртого. И сперва всё это мигало перед ним, то больно упираясь в самые глаза, то обволакиваясь душною мглою. Пожалуй, даже в равномерном и правильном чередовании,



и больше похожее на сон. А потом всё вырисовалось и застыло неопровержимой явью.

Горбатый шевельнулся, присел было наземь, но опять привстал. Горб колебался на его спине, кривя всё тело, и кровь беспокойными толчками ощущалась в каждом суставе. Больше же всего терзало ощущение удушья, точно этот его выстрел уже окончательно истребил вокруг что-то самое необходимое для жизни. Во всяком случае, всё то, что окружало горбатого, было совсем не похоже на ощущение победы и торжества. Он снова присел наземь, поникнув в тоскливом недоумении. И тогда в самых глубинах своего осознания он ощутил нарастание буйного раскола. Всё его существо, охваченное стремительным водоворотом, словно стало ярко раскалываться на две половинки, непримиримых, как день и ночь, как свет и тьма. И в то время, как одна половина его существа изнывала в томительном удушье, как бы охваченная предсмертными судорогами, вторая нарастала и крепла, набираясь сил. И сквозь тоску горбатый скоро ясно услышал её отчётливый голос: «Оберегай себя!»

Ощущая необходимейшую потребность отвязаться от мучительной тоски, ибо она могла обещать ему только смерть, и надеясь найти спасение от неё в повиновении тому крепнувшему голосу, горбатый прислушался, затаив дыхание. И тотчас же он услышал первый грозный и лишённый всяческих сомнений, приказ: «Погляди, где кривоногий? Не проснулся ли он от грохота твоего выстрела? Узнай!» Горбатый поспешно вскочил с земли и, чувствуя в ногах звериную лёгкость, сделал несколько шагов, пронзительно вглядываясь. То звериное логово, которое служило приютом сначала для всех трёх, однако, было пусто. Кривоногого там уже не было. Горбатый взметнулся направо, а потом налево, жадно ища взором того. Где же он? Обоняние, зрение и слух горбатого резко обострились, ища то, что ему было надо. Он снова легко взметнулся вправо. И тут в его сознание грозно ворвался гром встречного выстрела. Он испугался, но не особенно, напряжённо чувствуя, что и сам он достаточно силён теперь. Однако прыгнул за дерево, пряча тело. И тотчас же увидел кривоногого. Тот стоял в семи-восьми шагах от него, точно так же пряча своё тело за стволом дерева, весь цепко припав к нему и чуть-чуть выставив лишь голову и руку, вооружённую револьвером, как угрожающим

когтем. Горбатый сделал то же самоё: выставил из-за ствола и свой револьвер.

— Ишь, — проговорил он тогда. — Это ты в меня-то шарахнул?

Кривоногий в ответ опять выстрелил, весь даже выкинувшись на миг из-за ствола.

— С-сукин сын! — вскрикнул он затем сердито и сипло. — С-сукин сын! Это ты его убил, Митрия? Чтобы одному всей деньгой завладеть? С-су...

Он не договорил, видимо, подхваченный злобой, и снова выстрелил.

Горбатый не спеша прицелился и не спеша ответил на выстрел выстрелом же... Но тоже промахнулся.

— Постой бултыхать-то, — сказал он тогда, — давай, когда так, договоримся. Мне тебя убивать ни к чему, и Митрия я убил совсем не из-за денег.

— Ай из-за летошнего снега?

— И не из-за снега, а потому, что он сам хотел убить меня. Как улику! А с тобой я согласен на примиренье!

— Так, так! — насмешливо послышалось из-за ствола.

— Не веришь?

— А то верю! — воскликнул кривоногий насмешливо и злобно, добавив матерное ругательство.

— Ты послушай только меня.

— Слушаю, говори!

Рука с револьвером спряталась, но только для того, чтобы поспешно снова зарядить его.

— Слушаешь? А сам орудие снаряжаешь? — как будто с упрёком спросил горбатый.

— Надо бы мне ещё к тебе голеньким сунуться! Эх, голова!

Кривоногий снова скрепил своё восклицание циничной руганью.

Они стояли друг против друга, разделённые несколькими шагами, оба замирая в своих позах, с грозно выставленными руками.

— Обещаю тебе, — наконец опять заговорил горбатый, — всю добычу разделим пополам. Поскольку, бишь? По две тысячи пятьсот да по сотне. Слышал? Согласен?

— Согласен.

— На таких условиях?

— На этих самых. Только в подтверждение своей крепости брось оружие и выходи ко мне пустой!

— Это чтоб ты меня-то убил? Лучше ты первый брось пистолет, и я обещаю не тронуть тебя и пальцем. Слышал?

Кривоногий в ответ рассмеялся.

— Поищи кого поглупее!

— Ну, давай бросим орудие по команде. Оба сразу. По третьему счету. Раз два, три!

— Я-то брошу, а ты не бросишь! Голой рукой ты меня хочешь схватить. Врёшь, не обманешь, обожжёшься!

Кривоногий, видимо, был уверен, что все деньги находятся уже в кармане горбатого, и его душила злоба на того, кто так ловко провёл его. Весь, очевидно, охваченный этою злобой, он вновь бесстрашно выдвинулся из-за дерева и послал в горбатого последовательно три пули. Тот крепче припал к дереву. И вдруг почувствовал, что он уже ранен двумя пулями. В щёку и плечо. По щеке ползла кровь, а плечо заныло. Бешеная злоба вскинулась и в нём. Он выругался и ответно дважды выстрелил. Но, по всей видимости, без результата, ибо кривоногий рассмеялся.

— Моё дерево покрепче! С-сукин сын! Не достанешь!

Горбатый сердито взметнулся и замер, вдруг осенённый некоторым планом. Раз или два, сводя кожу лба в глубокие складки, он проверил свой план. И тогда, осторожно выставив ногу, он смёл ею в кучу прошлогодний древесный лист, ещё влажный от недавнего снега. Потом он достал из подкладки своей куртки горсть свалявшейся ваты и, поджёгши её спичкой, быстро сунул в кучу листа. Сизое облако дыма столбом потянулось кверху, и пользуясь им, как прикрытием, горбатый неслышно прыгнул за соседний ствол дерева. А там ещё и ещё, пытаясь обойти кривоногого слева. В этих прыжках было много силы и мягкости, и вскоре он увидел часть спины кривоногого. Столб сизого дыма редел, догорая, и кривоногий крутил шеей, пытаясь разглядеть из-за этого столба знакомую горбатую фигуру.

— Ищи ветра в поле, — чуть покривились губы горбатого.

Выставив вперёд руки и весь припав за стволом, он не спеша и холодно стал целить, для верности положив руку на сук. Он целил минуты две, а затем осторожно надавить спуск. Когда дым от выстрела

рассеялся, он увидел кривоногого. Тот лежал на спине, широко раскрыв рот.

— Ну и что ж? — прошептал горбатый.

Он двинулся к высокому и, извлёкши из его карманов деньги, переложил их в свои.

— А теперь мне куда? — задал он себе вопрос.

Из его щеки всё ещё текла кровь, и плечо ныло, гудя.

— Мне, видимо, в больницу надо, к дохтору! — решил он.

Но как он явится туда с деньгами, с целою уймою денег? И как он объяснит свои поранения? Его мысль работала уже вяло и тупо, видимо, подломив крылья. И мозг ощущался в голове тяжким, ноющим камнем.

— Деньги можно будет здесь схоронить пока, до поры до времени, — ответил он себе, — а относительно поранений скажу: злые люди в лесу напали! Видимо-невидимо! Дочиста обобрали, дескать!

В холодном тумане и в тупом равнодушии он двинулся лесом и, отыскав дуплистое дерево, засунул в это дупло все деньги. А на дереве сделал помету: три креста.

— Потом обернусь сюда! — шевельнулись его губы.

Он опять двинулся было лесом.

— Теперь в больницу, в больницу, — нашёптывал он.

Но ему снова будто отдали приказание. Словно шепнули: «А если кривоногий ещё жив? Он ведь опосля уличить может».

И, повинуясь приказанию, он возвратился назад, туда, где лежал кривоногий, чтобы убедиться, действительно ли он мёртв. Осторожно он подошёл к нему, внимательно ощупывая его глазами. Потом склонился над ним, припав ухом к его груди; надо было узнать, бьётся ли ещё его сердце. И тогда тело кривоногого как-то всё извернулось, и его рука цепко ухватила затылок горбатого, крепко притиснув его к груди. «Ранен он, а не убит», — пронеслось в горбатом.

Он ощутил тоску, отчаяние и бессилие, тупое и холодное.

— С-сукин... — шептали губы кривоногого, раздвигаясь, как деревянные. Одна рука его всё так же охватывала, как железным ошейником, затылок горбатого, а другая крутилась под его животом, точно в беспорядочных судорогах. Горбатый сделал отчаянное усилие, чтоб выхватить из своего кармана оружие. И весь точно надулся в томительной злобе. Но железный ошейник не расторгся под его натиском.

И тут же он почувствовал режущую боль в животе. Он замер в недоумении и снова воскрес в одном злобном и бурном сопротивлении. Но это напряжение его сил только удесятерило боль в животе. Мысль подсказывала ему: «Убил он тебя. Ножом в живот!»

Железный ошейник тут же словно расторгся над ним, но у него хватило сил только чуть приподнять голову, чтобы снова припасть на грудь кривоногого. Мысль беспорядочно забилась и замёрзла.

Но ощущение ещё держалось в нём.

Было ощущение беспросветной тьмы, холодного ужаса и тоскливой жалости к себе. Всё это, неразрывно связанное, висело над головою, как один неподвижный камень, от которого веяло стужей, постепенно замораживавшей сознание. Движение жизни тоже будто остановилось вокруг, охваченное холодом, и выражения «долго» и «коротко» сделались безразличными, одинаково пустыми и ничтожными. А потом сквозь каменную стену оцепенения будто всё порывался кто-то, и немощный, и могучий, требуя примирения и соглашения с собою сейчас же и безотлагательно. И примирение восторжествовало.

И тогда всё порвалось, исчезая…

Когда луч солнца заглянул перед полднем в это тенистое лесное логово, он нашёл там три трупа. Один лежал распростёртый, всё ещё точно прислушиваясь к погоне. А два будто припали друг к другу в братском объятии. Но денег луч солнца не нашёл, да он и не искал их. Их нашёл дятел, искавший по дуплам необходимого завтрака. Нашёл и тотчас же отлетел прочь, как от не сто́ящей внимания дряни.

— Дрянь! — прокричал он пронзительно всем птицам, сообщая им о своей находке.

—Дрянь! Дрянь!